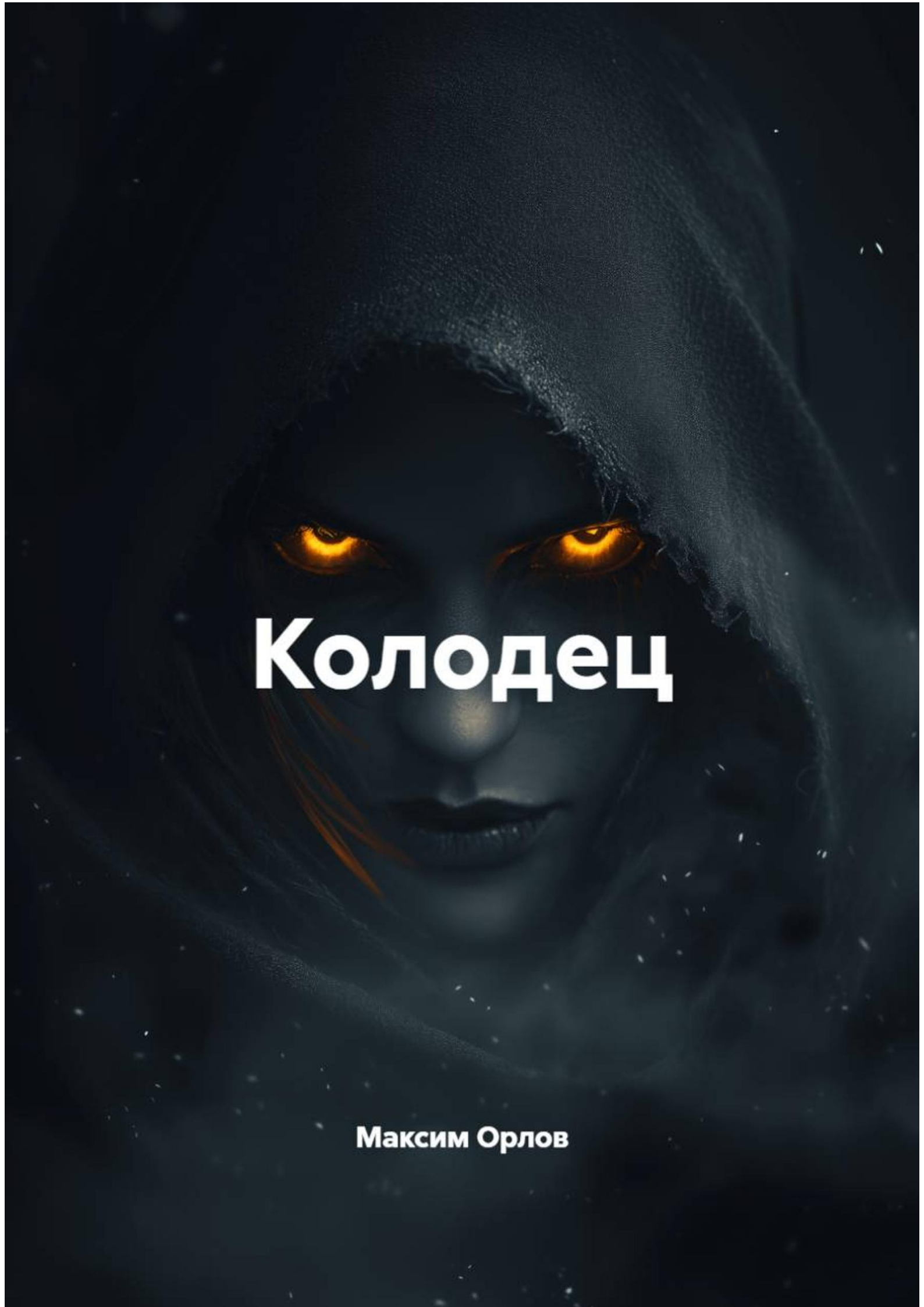




Колодец

Максим Орлов

Северные предания

Максим Орлов

Колодец

«Автор»

2026

Орлов М. В.

Колодец / М. В. Орлов — «Автор», 2026 — (Северные предания)

Зима. Новгородские земли вымирают — деревни пусты, дороги занесены, а в лесах стоит то, чему не место среди живых. Мертвецы не атакуют и не бегут — они ждут. Их ведёт бывший монах Арсений, сломанный человек, который нашёл в земле источник древней силы и назвал его спасением. Владимир — воин, вернувшийся из похода — получает приказ: найти Колодец и закрыть его. Собрав отряд из тех, кто согласился идти в метель, он выходит на север. Купец с упрямой кобылой. Женщина с почерневшей рукой. Тихий охотник, который слышит зов Колодца и с каждым шагом теряет себя. И проводник — не совсем человек, чьи следы на снегу не похожи на человеческие. Но за каждым холмом ждёт выбор, а цена решения растёт с каждой верстой. Потому что Колодец — не просто дыра в земле. Это голод, который кормится мёртвыми и не наедается. И если закрыть его — мёртвые падут, а с юга придут татары, и защищать Русь будет некому. Первая книга цикла «Северные предания». о долге, о цене выбора.

© Орлов М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. «Холод, который не снаружи»	5
Глава 1. Возвращение	6
Глава 2. Старые долги	9
Глава 3. Усельки	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Колодец

Пролог. «Холод, который не снаружи»

Зима 1230 года.

Снег шёл третий день подряд, и казалось, что небо просто решило стереть землю. В овраге у старого тракта лежал труп — не в сугробе, а на голой земле, будто снег обходил его стороной. Кожа мертвеца была не белой, а серой, как пепел. На груди — не рана, а вмятина, точно кто-то вдавил туда ладонь и держал, пока сердце не остановилось.

Рядом, в тени елей, стоял Арсений. Бывший игумен. Теперь — тот, кто знает, где кончается вера и начинается расчёт. Он смотрел на труп и думал не о спасении души, а о том, сколько таких тел ему нужно, чтобы закрыть дорогу с юга. Степь не спрашивает, праведник ты или грешник. Она просто приходит.

Он наклонился, коснулся лба мертвеца — и почувствовал, как холод из земли поднимается по пальцам, как вода по корням. Это не было чудом. Это была работа. Тяжёлая, грязная, но необходимая.

«Прости», — прошептал он не Богу, а мертвецу и пошёл дальше.

Тем временем в Новгороде, в это же время совсем другой человек думал не о мёртвых, а о живых. Владимир Волчий Хвост стоял у задних ворот города и ждал, когда стражник отвернётся. У него не было ни стяга, ни свиты. Только меч, который он прятал под полкой, и вина, которая грела хуже любого меха.

Город пах дымом, гнилью и страхом. И Владимир знал: если он войдёт, то не как герой. А как тот, кто должен заплатить.

Глава 1. Возвращение

Задние ворота Новгорода пахли мочой. Стражник, стоявший в караулке, мочился прямо в снег, не сходя с поста, и к вечеру жёлтое пятно разъелось до чёрной земли. Владимир стоял за стогом сена на выгоне и ждал. Ждал не темноты — темнота пришла бы и так. Ждал, когда стражник отвернётся к огню. Пальцы на правой руке не слушались: большой и указательный онемели ещё на подходе, у моста через Волхов, и теперь он сжимал и разжимал кулак, пока не почувствовал, как кровь возвращается — тупая, ноющая, как зубная боль в ладони.

Меч лежал под полой, привязанный к бедру верёвкой. Рукоять упиралась в рёбра, и каждый шаг толкал её в печень, напоминая: ты вооружён, а значит — опасен. Для себя, потому что если найдут, казнят. Для других, потому что в таком городе человек с мечом либо стражник, либо разбойник, и разбойника убивают быстрее.

Два года назад он выходил отсюда через главные ворота, под конвоем, и ему казалось, что он никогда не вернётся. Теперь он возвращался через заднюю калитку, как вор. Город за стеной пах дымом, гнилой капустой и чем-то сладковатым, похожим на разложение, и этот запах был ему знаком лучше, чем он хотел бы признать.

Стражник отвернулся, подбрасывая ветку в огонь, и Владимир шагнул в проём, низко пригнувшись, чтобы не задеть головой перекладину. Мостовая скрипнула под сапогом, и он замер, но стражник не обернулся, только кашлянул и сплюнул в снег. Владимир двинулся дальше, держась теней, и через десять шагов оказался на улице, где когда-то стоял дом его отца.

Дома не было. Остался обгорелый остов, чёрный, как уголь, с провалившейся крышей и выбитыми окнами, глядящими в небо пустыми глазницами. Владимир остановился, и в груди что-то сжалось — не боль, а хуже: пустота, которую не заполнить ни вином, ни мстостью. Он стоял так долго, что снег успел покрыть плечи белой коркой, и только когда порыв ветра ударил в лицо ледяной пылью, очнулся и пошёл дальше.

Новгород встретил его дымом. Не дымом костров — дымом гниения, который поднимается от ям, куда сваливают неперегоревшие тела. На перекрёстке у Никольской церкви женщина в истёртом полушубке торговалась за мешок муки. Не за цену — за вес. Продавец, мужик с красным обмороженным лицом, всучил ей мешок, в котором мука доходила до середины. Она перетянула горловину. Поняла. Подняла глаза — и заплакала. Не от горя. От усталости. Слёзы катились по обветренным щекам, и она даже не вытирала их.

Владимир прошёл мимо. Не потому что не хотел помочь, а потому что знал: если сейчас вмешается, к вечеру его опознают. А если опознают — убьют. Не княжьи люди убьют. Просто кто-нибудь из тех, кто помнит, что Волчий Хвост убил боярского сына на пиру. Память в Новгороде длинная, как зима. И такая же холодная.

Он шёл по Горке — мимо боярских хором, где ставни закрыты, а у крыльца собака настолько тощая, что даже не лает. Мимо торговых рядов, где лавки забиты досками. Мимо двора, где двое мужиков рубят на дрова пустую клеть и смотрят на Владимира с тем особенным прищуром, с каким смотрят на чужаков: не злобно — оценивающе. Чужак может быть опасен. Чужак может быть добычей.

Подвал церкви Успения был вырыт глубоко — в три человеческих роста. Владимир спулся по лестнице, и с каждой ступенью воздух становился гуще: сначала — ладан, потом — дым, потом — сладковатый, тяжёлый запах, который он узнал сразу. Горелое мясо. Он слышал этот запах на пирах, где подгорала свинина. Здесь пахло так же, только без свинины.

У стены горели три жаровни, и дым стоял ровным слоем, как низкие облака. В дальнем углу кто-то работал спиной к лестнице: невысокая фигура в длинном, не по росту, кожаном переднике, перепачканном сажей и чем-то тёмным. Волосы русые, короткие, перевязаны на

затылке обрывком верёвки. Руки двигались быстро и точно: перевернуть труп на бок, проверить шею, заглянуть под веки, провести ладонью по грудной клетке — и дальше, к следующему.

Трупов было семь. Четыре на досках, прикрытых мешковиной. Два у жаровни, уже обгоревшие до чёрных, скорченных фигур. Один на полу, свежий, ещё не тронутый.

— Анна, — сказал Владимир.

Она не вздрогнула. Доделала — провела пальцами по запястью мертвеца, проверяя, нет ли окоченения, — и только потом выпрямилась. Повернулась. Лицо, которое не подходило к этому подвалу: молодое, узкое, с тёмными кругами под глазами, но живое. Не ожесточённое. Уставшее, как устаёт земля перед посевом — не от того, что кончилась, а от того, что ещё держит.

— Ты долго, — сказала она. Не как вопрос. Как факт. — Я думала, ты не вернёшься.

— Я и сам так думал.

— Зачем?

Владимир не ответил сразу. Смотрел на труп, который она только что осмотрела. Мужик лет сорока, бородатый, с грубыми руками — крестьянин или ремесленник. Лицо спокойное, будто уснул, и только открытые мутные глаза смотрели в потолок с выражением, похожим на удивление.

— Ты знаешь зачем, — сказал он.

— Я знаю, зачем ты думаешь, что пришёл. Но ты можешь ошибаться.

Анна кивнула на труп.

— Вот. Посмотри.

Владимир присел на корточки. Кожа мертвеца была серой — не белой, как у замёрзших, а пепельной, будто кровь ушла не через рану, а испарилась. Он тронул грудную клетку — холодная, но не мёрзлая. Не уличный холод. Другой.

— Раскрой, — сказала Анна.

Он вынул нож, разрезал рубаху. На груди — ни раны, ни побоев. Только вмятина, чуть левее сердца, неглубокая, будто кто-то прижал ладонь и держал.

— Лёгкие, — сказала Анна. — Разрежь.

Он вспорол грудную клетку — не аккуратно, как лекарь, а как воин, который знает, куда бить. Под рёбрами было сухо, крови немного, тёмной, загустевшей. А лёгкие — белые. Не розовые, не багровые, а белые, как иней на стекле. Обмороженные. Изнутри.

— Человек умер не от холода снаружи, — сказала Анна. — Он замёрз изнутри. Как будто кто-то влил ему в грудь зиму.

Владимир выпрямился. Анна сняла передник, вытерла руки о тряпку, налила из кувшина в глиняную кружку мутную жидкость, пахнущую кислым молоком и горечью. Протянула ему. Он сделал глоток, горечь ударила в горло, заставив зажмуриться.

— Сколько таких? — спросил он, ставя кружку на стол.

— За неделю — двенадцать. Все молодые, все сильные. Никто не болел, никто не жаловался. Ложились спать и не просыпались. А утром их находили холодными, как лёд, но без единого признака обморожения на коже.

Владимир молчал, глядя на мертвеца, и чувствовал, как в животе нарастает холод — не тот, что от мороза, а тот, что от понимания. Он видел такое однажды, десять лет назад, в походе на север, когда они нашли деревню, вымершую за одну ночь. Тогда решили, что чума, но теперь он знал, что чума не оставляет таких тел — спокойных, почти умиротворённых, будто люди умерли во сне, видя что-то хорошее.

— Это не чума, — сказал он. — И не мороз. Это Колодец.

Анна кивнула, будто ожидала этих слов.

— Я тоже так думала. Поэтому и ждала тебя. Потому что одна не справлюсь.

— Деревни?

— Усельки — последняя. Тридцать дворов. Все. За одну ночь. Тел нет.

— Сколько у нас времени?

— Если холод движется так же — месяц. Может, два. К началу весны он будет здесь.

Владимир подошёл к жаровне, протянул руки. Жар лизал ладони, и боль оттепели была острее, чем боль мороза. Он стоял так, пока пальцы не заныли по-настоящему, и только тогда убрал.

— Покажи мне след, — сказал он.

— Какой?

— Тот, который ведёт отсюда.

Анна кивнула на лестницу. На нижней ступени — грязь, снег, сажа. И среди этого — полоса, не шире ладони. Не от сапога. От чего-то, что тянулось по земле, как мокрая тряпка. Полоса шла вверх по ступеням и терялась в снегу за порогом.

— Я видела его утром, — сказала Анна. — К полудню он ушёл на два квартала. К вечеру — не нашла.

— Он тает?

— Нет. Он не тает. Он не снег.

Владимир взял кружку, допил до дна. Поставил на стол с глухим стуком.

— Мне нужны люди, — сказал он. — Не герои. Не добровольцы. Те, кому нечего терять.

— У меня есть такие. Но сначала тебе нужно поговорить с Борисом. Он ждёт тебя в трактире «У старого дуба». Говорит, у него есть сведения о Колодце. И деньги.

Владимир кивнул и направился к лестнице. Анна шла за ним, молча, и только у порога, когда порыв ветра ударил им в лицо ледяной пылью, тихо сказала:

— Если будешь искать того, кто это делает, ищи там, где теплее всего. Потому что холод всегда идёт от чего-то тёплого.

Они вышли на улицу. Снег шёл гуще, забивая глаза, превращая мир в белую пелену, в которой даже фонари казались тусклыми точками. Владимир шёл впереди, чувствуя, как холод пробирается под одежду, как пальцы теряют чувствительность, как в груди нарастает то самое ощущение, которое он научился называть не страхом, а готовностью.

И где-то за крышами, за стеной, за лесом, в стороне Усельков, что-то двигалось — медленно, неслышно, не останавливаясь.

Владимир знал: завтра он пойдёт туда. Не потому, что должен. А потому что больше некому.

Глава 2. Старые долги

Трактир «У старого дуба» стоял на углу, где сходились три улицы, и пах кислым пивом, жареным луком и чем-то сладковатым, похожим на гниющую солому. Владимир толкнул низкую дверь, и его встретил шум: голоса, смех, звон кружек, треск огня в очаге. Внутри было тепло, настолько тепло, что у него сразу зашипало в глазах, а пальцы, ещё недавно онемевшие на морозе, начали ныть так, будто в них вонзились сотни иголок.

Он остановился у порога, оглядываясь. Трактир был полон: купцы в богатых шубах сидели за столами у окна, ремесленники теснились у очага, монахи шептались в углу, склонившись над кружками. Но Владимир искал не их. Он искал человека, который сидел в самом дальнем углу, спиной к стене, так, чтобы видеть всех, но чтобы его самого видели только те, кому он позволит.

Борис Купец не изменился за десять лет. Всё тот же широкий, как бочка, с рыжей бородой, в которой седина пробивалась чаще, чем хотелось бы, и маленькими хитрыми глазками, которые видели всё и не пропускали ничего. Он сидел, откинувшись на скамью, и лениво крутил в пальцах серебряную монету, перебрасывая её с ладони на ладонь, как фокусник, которому надоело шоу.

Владимир подошёл, не спрашивая разрешения, и сел напротив. Борис поднял глаза, и на мгновение в них мелькнуло что-то — не удивление, не радость, а скорее облегчение, как у человека, который долго ждал и уже начал сомневаться, придёт ли тот, кого ждут.

— Долго ты, — сказал Борис, не переставая крутить монету. — Я уж думал, ты передумал.

— Я и сам думал, — ответил Владимир. — Но передумать — это одно, а сделать — другое.

Борис кивнул, словно это было именно то, что он хотел услышать. Он поймал монету, сжал в кулаке и положил на стол.

— Долг помнишь? — спросил он, и в голосе его не было укора, только вопрос, на который нужен был ответ.

— Помню, — сказал Владимир. — Десять лет назад, у моста через Волхов, когда на тебя напали разбойники. Я тогда ещё в дружине служил.

— И спас мне жизнь, — кивнул Борис. — А я пообещал, что когда понадобится, приду. Вот я и пришёл.

Он помолчал, глядя на Владимира, и добавил:

— Только не думай, что я из благородных. Я купец. Я считаю каждую гривну. И если ты ведёшь меня на верную смерть, я хочу знать, сколько мне за это заплатят.

— Платить нечем, — честно сказал Владимир. — Кроме того, что если мы не закроем Колодец, к весне от Новгорода останутся только обглоданные кости. И твои гривны тоже.

Борис усмехнулся, коротко, без веселья.

— Значит, мы в одной лодке, — сказал он. — Хорошо. Я привёл четверых своих людей. Крепкие парни, в бою были. Но они не дураки, и если почувствуют, что дело нечистое, уйдут.

— Дело нечистое, — согласился Владимир. — Но другого нет.

Они сидели молча, и Владимир чувствовал, как тепло очага постепенно пробирается под одежду, как пальцы перестают дрожать, как в животе просыпается голод — не тот, что от пустого желудка, а тот, что от усталости, когда тело требует еды, чтобы продолжать двигаться.

— Марфа здесь? — спросил он наконец.

Борис кивнул на другой угол, где у стены, в тени, сидела старая женщина. Она была маленькая, сморщенная, с седыми волосами, собранными в тугую узел, и слепым левым глазом,

затянутым мутной плёнкой. Правый глаз смотрел остро, как у хищной птицы, и Владимир почувствовал, как этот взгляд скользнул по нему, оценивая, взвешивая, решая.

Он встал и подошёл к ней. Марфа не подняла головы, только протянула руку к кружке, стоявшей перед ней, и сделала глоток. Пахло горькими травами, и Владимир узнал этот запах — запах ведовства, запах магии, которая тянет тепло из тела.

— Садись, — сказала она, не оборачиваясь. — Я знала, что ты придёшь.

— Откуда? — спросил он, садясь напротив.

— Потому что больше никому, — ответила она, наконец поднимая глаза. — Колодец проснулся. Ты это знаешь. Я это знаю. А больше никто не знает, потому что никто не хочет знать.

Она помолчала, глядя на него своим единственным зрячим глазом, и добавила:

— Я пойду с тобой. Но знай: обряд закрытия требует платы. И я не уверена, что у меня хватит сил заплатить.

— Ты умрёшь, — сказал он. Не как вопрос. Как факт.

— Может быть, — кивнула она. — А может, просто состарюсь на двадцать лет за одну ночь. Но это не важно. Важно, что если мы не закроем Колодец, умрут все. А я уже старая. Мне не так жалко.

Владимир молчал, глядя на неё, и чувствовал, как в груди что-то сжимается — не жалость, а что-то хуже жалости: понимание того, что эта женщина уже приняла своё решение, и он не может его изменить, только принять.

— Есть ещё один, — сказала Марфа, кивая на дверь. — Священник. Григорий его зовут. Пришёл сам, без приглашения. Говорит, хочет искупить грехи.

— Какие грехи? — спросил Владимир.

— Не знаю, — пожала плечами Марфа. — Но глаза у него такие, будто он уже видел смерть и не смог её победить. А теперь ищет того, кто сможет.

Владимир обернулся. У двери стоял молодой человек, лет двадцати восьми, не больше, в чёрной рясе, перепачканной грязью и чем-то тёмным, похожим на засохшую кровь. Лицо худое, с глубокими тенями под глазами, и руки, которые дрожали, хотя в трактире было тепло. Он стоял, не решаясь войти дальше, и смотрел на Владимира так, будто ждал приговора.

Владимир встал и подошёл к нему.

— Григорий? — спросил он.

Молодой человек кивнул, и голос его дрогнул, когда он ответил:

— Я слышал, вы идёте на Колодец. Я хочу пойти с вами.

— Зачем? — спросил Владимир, глядя ему в глаза.

Григорий молчал, и Владимир видел, как в его глазах борются страх и решимость, сомнение и надежда. Он посмотрел на руки священника — пальцы были тонкими, с длинными ногтями, и на правом указательном ногте чернела полоска засохшей крови. Ряса была перепачкана не грязью, а чем-то, что пахло землёй и тленом.

— Потому что я больше не знаю, — сказал Григорий наконец, и голос его был тише, чем раньше. — Я молился. Я читал псалмы над умирающими. Но они всё равно умирали. И я не знаю, слушает ли меня кто-нибудь там, наверху.

Он помолчал, глядя в пол, и добавил:

— Если там, у Колодца, я не найду ответа, я найду хотя бы конец.

Владимир кивнул, не отвечая, потому что не знал, что ответить. Он не знал, есть ли ответ у Колодца, и есть ли ответ вообще, но он знал, что этому человеку нужно идти, и что он пойдёт, даже если это убьёт его.

— Хорошо, — сказал он. — Завтра на рассвете выходим. Будь у северных ворот.

Григорий кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то — не радость, не облегчение, а скорее благодарность, как у человека, которому позволили сделать то, что он боялся сделать сам.

Владимир вернулся к столу, где ждал Борис. Купец уже заказал еду, и перед ним стояла миска с горячей похлёбкой, от которой шёл пар, пахнувший салом и луком.

— Сколько нас? — спросил Борис, пододвигая к Владимиру вторую миску.

— Девять, — ответил Владимир, садясь и беря ложку. — Ты, я, Анна, Марфа, Григорий. И твои четверо.

— Девять человек, — кивнул Борис. — Маловато для такого дела.

— Больше не нужно, — сказал Владимир. — Больше — только мешать будут.

Они ели молча, и Владимир чувствовал, как горячая похлёбка обжигает горло, как тепло разливается по телу, как пальцы перестают дрожать, и он понял, что это, может быть, последний раз, когда он ест тёплую еду, и эта мысль была не страшной, а странной, как будто он уже попрощался с чем-то, что ещё не потерял.

Когда они закончили, Борис откинулся на скамью и сказал:

— Есть ещё кое-что. Разведчик вернулся из Усельков.

— И что? — спросил Владимир, чувствуя, как в животе сжимается холод.

— Деревня вымерла за одну ночь — тридцать дворов, все до единого.

— Тела?

— Тел не нашли, только следы — босые, ведущие в лес.

Владимир молчал, глядя на пустую миску, и чувствовал, как холод в животе становится сильнее, как он поднимается к горлу, к сердцу, и он понял, что это не страх, а что-то хуже страха: понимание того, что они опоздали, что холод уже идёт, и что они не знают, как его остановить.

— Значит, завтра, — сказал он наконец. — На рассвете.

— На рассвете, — кивнул Борис. — И лучше бы нам не опоздать снова.

Они вышли из трактира, и снег сразу ударил в лицо, холодный, колющий, и Владимир почувствовал, как тепло похлёбки быстро уходит, уступая место холоду, который был не снаружи, а внутри, и он знал, что этот холод не уйдёт, пока они не дойдут до Колодца, и может быть, даже после этого он не уйдёт никогда.

Глава 3. Усельки

Вышли на рассвете — если это можно было назвать рассветом. Небо не посветлело, просто чернота стала серой, как грязное бельё, и снег перестал падать, что было хуже снегопада, потому что теперь ветер бил в лицо не скрыто, а в открытую, резкими, длинными порывами, от которых слезились глаза и саднило кожу на скулах.

Отряд шёл гуськом, по тропе, которую ещё можно было различить под снегом. Владимир — впереди, за ним Борис с двумя своими людьми, потом Анна, ведя под уздцы кобылу с поклажей, дальше Григорий, замыкала Марфа — ехала на мерине, потому что ноги у неё были слабые, а отказываться она не стала, только буркнула: «Не из гордости — из расчёту. Упаду — вы потеряете день».

Лошадей было шесть. Четыре под седлом, две вьючные. Одна из кобыл — Серка, серая в яблоках — уже на третьей версте начала прихрамывать: передняя левая ступала бережно, и Владимир слышал, как ритм её шага ломается — четыре удара, а пятый тихий, заглушённый, словно она переносит вес через боль. Борис, заметив, сплюнул и сказал негромко:

— К вечеру будет хропать на обе передние.

Владимир не ответил. Он считал следы на тропе. Старые — лисьи, заячьи, волчьи — всё как положено. И новые — босые человеческие, маленькие и большие вперемешку, шедшие в одну сторону, в сторону леса. Следов было много: не десять и не двадцать, а столько, сколько ног в деревне на тридцать дворов. И ни один не шёл обратно.

Усельки стояли в низине, за полем, которое летом было бы огородами, а теперь — белой равниной с редкими пнями, торчавшими из снега, как обломанные зубы. Деревня была маленькая: две улицы, церковка на отшибе, колодец посередине. И она была пуста.

Не разрушена, не сожжена, не разграблена — пуста, как будто все жители вышли на минуту и забыли вернуться.

Владимир вошёл в первый двор и остановился. В избе было тепло. Печь — ещё тёплая, не остывшая, и он почувствовал это кожей лица, как чувствуют тепло открытой ладони. На столе — миска с кашей, каша загустела, но не заплесневела. Рядом — ложка, деревянная, обглоданная. На лавке — детский полушубок, вывернутый наизнанку, будто его снимали в спешке. На полке — горшок с молоком, молоко скисло, но не замёрзло, хотя на дворе было двадцать градусов мороза.

Он вышел, перешёл во второй двор. То же: печь тёплая, еда на столе, одежда на вешалке. В третьем дворе — люлька, в ней одеяльце, свёрнутое валиком. Владимир тронул его и отдёргнул руку — под одеяльцем было пусто, но на дне люльки осталась вмятина, будто ребёнка вынули недавно и аккуратно, не разбудив.

Анна работала рядом, по своему обычаю: входила в избу, проверяла — лёгкие, кожу, глаза. Выходила, качала головой. Ни одного тела. Ни одного признака насилия. Ни крови, ни борьбы, ни сломанных дверей. Люди ушли сами — или ушли так, что не успели сопротивляться.

— Печи топили ночью, — сказала Анна, вытирая руки о передник. — Каша на столе — утренняя. Значит, уходили на рассвете. Или под рассвет.

— Босые, — сказал Владимир. — Следы босые. Зимой, в двадцать мороза.

Анна посмотрела на него, и в её глазах он увидел то, чего не видел раньше: не усталость, а страх. Не перед мёртвыми — мёртвых она видела достаточно. Перед живыми, которые уходят босиком в мороз, не взяв ни еды, ни одежды, и не возвращаются.

— Они не ушли, — сказала она тихо. — Их увели.

Лес начинался сразу за последним двором. Не стена — просто деревья, стоявшие так близко друг к другу, что между стволами не протиснуться верхом. Следы — босые, глубокие,

отпечатанные в снегу — шли в лес, и Владимир считал их, пока не сбился. Сорок. Пятьдесят. Может, больше. Всё в одну сторону. Ни одного следа назад.

— Дальше верхом не пройти, — сказал Борис, останавливаясь у первого ряда елей. — Оставляем лошадей?

— Оставляем, — кивнул Владимир. — Анна остаётся с ними.

— Я пойду с вами, — сказала Анна.

— Нет, — ответил Владимир. — Если мы не вернёмся к темноте, ты поведёшь лошадей обратно в Новгород. Расскажешь воеводе.

Анна хотела спорить, но посмотрела на него — и не стала. Только достала из седельной сумки кинжал, короткий, с тёмной рукоятью, и спрятала за пояс.

— Если кого-то из вас приведут обратно мёртвым, — сказала она, — я должна буду проверить, не обратился ли он. Если обратился — я знаю, что делать.

Владимир кивнул. Он знал, что она имеет в виду. Не молитву, не обряд — удар киндваром в основание черепа, а потом огонь. Он видел это однажды, десять лет назад, и помнил, как хрустнула кость.

В лес пошли пятеро: Владимир, Борис, двое его людей — Степан и Олекса — и Григорий. Марфа осталась с лошадьми, но напутствовала их так:

— Если почувствуете, что холодно, а печи рядом нет — разворачивайтесь. Это не мороз. Это Колодец тянет. И если он начал тянуть, значит, вы уже ближе, чем нужно.

Лес был тих. Не тихий — именно тих, как место, из которого ушёл звук. Владимир слышал свой шаг, хруст веток, дыхание Бориса за спиной, но всё это казалось приглушённым, словно снег поглощал шум, не отдавая его обратно. И было не холоднее, чем в поле, но холод был другой — не ветер, не мороз, а что-то, что шло из-под земли, через подошвы сапог, через стволы деревьев, и Владимир почувствовал, как ступни начинают мёрзнуть изнутри, как будто кто-то влил в сапоги талую воду.

Следы вели вглубь, и деревья смыкались гуще, и небо исчезло — только стволы, чёрные, мокрые, и снег на ветках, тяжёлый, ноздреватый. Идти пришлось гуськом, по одному, прижимая плечи, чтобы не цеплять ветками лицо.

Шагов через двести Степан, шедший за Борисом, остановился и поднял руку.

— Тихо, — сказал он. Все остановились. Владимир прислушался. Ничего. Ни птиц, ни ветра, ни скрипа стволов. Тишина, которая была не отсутствием звука, а его присутствием — тяжёлым, плотным, как ватный платок, прижатый к ушам.

— Вон, — сказал Степан и указал.

Между двух елей, шагах в пятнадцати от тропы, стоял человек. Босой, в рубахе до колен, с непокрытой головой. Стоял — не прислонился, не висел, а именно стоял, как столб, как вкопанный, и снег вокруг него был утоптан, будто он стоял здесь давно. Руки опущены вдоль тела, голова чуть наклонена, как у задремавшего. Лицо — серое, пепельное, с закрытыми глазами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.